

Денис Пожидаев

ДАЖЕ ЕСЛИ ПОЗОВУ



18+

СВИДЕТЕЛИ ПОРОГА

Денис Пожидаев

Даже если позову

«Автор»

2026

Пожидаев Д.

Даже если позову / Д. Пожидаев — «Автор», 2026

У Порога свои правила: живых и мёртвых нельзя путать, чужого нельзя впускать, а одна ошибка способна изменить не только судьбу человека, но и сам порядок дома. Пёс привык узнавать тех, кто имеет право войти, и не сомневаться в своём предназначении. Но однажды знакомые признаки перестают складываться в привычный ответ. Мрачная неофольклорная история о верности, страхе, праве назвать другого — и цене решения, которое кажется единственно правильным.

© Пожидаев Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Первый зов	5
Глава первая. Яга вернулась пешком	5
Глава вторая. Девочка у межи	11
Глава третья. Семь сердец	16
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Денис Пожидаев

Даже если позову

Часть первая. Первый зов

Глава первая. Яга вернулась пешком

Яга вернулась пешком.

Я понял это раньше, чем увидел её, — по тому, чего не было. Не было воя ступы, распарывающей воздух над лесом, того долгого звука, что приходит всегда прежде неё самой и от которого мелкое зверьё в норах вжимается глубже в землю. Не было длинного разорванного следа, который метла замечает за собой, будто стыдится дороги. Не было того короткого молчания, с каким птицы всегда пропускали её над собой, прижимаясь к веткам и переставая дышать, пока тень не пройдёт. Ночь стояла обыкновенная, полная своих мелких запахов — прелого листа, остывающей за день земли, мыши, что прошла у корней час назад, — и в этой обыкновенности хозяйка возвращалась к дому шагом, как усталый человек, каких я перевидал у наших ворот без счёта, только все они были чужие, а эта — своя.

Я знаю всех, кто приходит к этому дому. Это моя служба, и в ней я хорош; скажу без похвалы, которой моя служба и не терпит, — хорош, как бывает хорош тот, кто не умеет ничего другого и не хочет уметь. В этой же службе была и вся моя вина. Но я думал, что вина бывает только у тех, кто плохо сторожит, а я сторожил хорошо. Я и теперь сторожу хорошо. В этом всё и дело.

Вечер до того был из лучших наших вечеров, и я расскажу о нём, потому что после таких вечеров и приходит то, что приходит, а если не рассказать, каким был вечер, не понять, что мы потеряли.

Печь топилась. Я чуял её через землю, лёжа у крыльца, — ровный сытый жар, запах золы и того травяного дыма, каким пахнет, когда Жаба бросает в огонь свои сушёные корни, чтобы дом не брала сырость. Жаба к ночи всегда обходит дом изнутри, шлёпая мокрыми лапами по половицам, и трогает стены — не болят ли; она лечит дом, как лечит всё, к чему может дотянуться, и дом ей это позволяет, потому что Жаба одна из нас не хочет от дома ничего, кроме чтоб он был здоров. Кот сидел на столбе, на своём месте, откуда видно двор, ограду и меня, и делал вид, что дремлет, а сам считал — Кот всегда что-нибудь считает, чужое добро, чужие долги, чужие оплошности, — и хвост его качался ровно, как качается ветка, на которой сидит птица, знающая, что улетит первой. Ворон дремал на подвесной жерди, спрятав голову в перо, и во сне иногда вздрагивал и приоткрывал один глаз, будто и во сне не переставал видеть то, что видит, — концы и начала, которых нам не дано. Змея была в стене, я слышал её низкий, у самой земли, ход; она грелась у моей щели, той, у которой грелась век, и это было привычно, как своё дыхание. А хозяйка была в отлучке — третий день, — и дом без неё делался тише, осторожнее, как делается тише двор, когда уходит тот, у кого право.

Вот такой был вечер. Обыкновенный. Из тех, каких у нас были тысячи и каких больше не будет ни одного.

Я заканчивал вечерний обход, когда почувствовал перемену.

Мёртвое кольцо — это полоса земли за оградой, шириной в три моих прыжка, где не растёт трава и не держится живое. Я хожу по нему каждую ночь, всегда в одну сторону, всегда против того, как ходит солнце. Так меня приучили, и так правильно: граница должна знать, что её проверяют, иначе она начинает проверять сама, а граница, что проверяет сама, недолго оста-

ётся границей. Я иду и читаю. Старые следы — как знакомые голоса; я узнаю их, не задерживаясь, как человек не задерживается на знакомом лице в толпе. Вот заяц прошёл ещё засветло и не переступил кольцо — умный заяц, старый, я знаю его третью зиму, у него порванное ухо и осторожная задняя лапа. Вот лиса; она обошла меня стороной, дошла до края мёртвой земли, постояла, нюхая, вскинула морду, поймала запах кольца — тот сухой, неживой запах, что идёт от земли, где ничто не растёт, — и повернула в лес. Живое не входит в кольцо. Живое умнее, чем о нём думают: оно чувствует границу без всякой науки, одним нутром, и уважает её так, как не всегда уважают те, кому граница поручена.

Мох на северной стороне лежал как положено — остриём от дома; я проверил его носом, потом лёгким касанием лапы, как проверяю всегда, потому что мох врёт последним, когда уже соврало всё остальное. Черепа на кольях смотрели наружу, каждый в свою сторону, и держали пустой лес на расстоянии одним тем, что смотрели; в этом их служба, схожая с моей, — держать взглядом то, чего не удержишь зубами. Всё было на местах. Всё, кроме дома.

Избушка стояла боком.

Она разворачивается редко и всегда по делу. Дверью к тропе — значит, ждёт гостя и готова его судить; тогда она подбирается, приосанивается, и ступени у неё делаются ровные, приветливые, обманчиво лёгкие. Дверью к лесу — значит, вышла на охоту сама, и тогда лучше не подходить с той стороны, там от неё тянет голодным. А боком она встаёт, когда не хочет признавать пришедшего гостем. Она не отказывает и не пускает — она думает. И вот теперь она думала, повернувшись глухой стеной к пустому участку леса, где не было ни тропы, ни следа, ни причины чего-либо ждать, — стояла, чуть подавшись на курьих своих ногах вперёд, как подаётся вперёд тот, кто вслушивается в темноту.

Я решил, что это обычная её настороженность. Дом старше меня, а я старше многих человеческих родов, и тот, кто так стар, имеет право на дурной характер и на причуды, которых не объясняет. Я обошёл его кругом, проверил, как держится земля под крыльцом — там, где моё место, — и земля была тёплой, как всегда, и пахла мной и сухим деревом, и этот запах — запах моего места — был лучшим из всех, что я знаю, потому что он значит: ты дома, ты на посту, всё, что ты любишь, спит у тебя за спиной. Я лёг было, положив морду на лапы, и уже начал уплывать в ту чуткую полудрёму, в какой сторож проводит ночи, слыша сквозь неё всё.

И не лёг. С межи потянуло шагом.

Сначала — просто шаг. Ровный, тяжелее правой ногой, легче левой; я узнал бы эту походку среди тысячи, среди всех походок мира, потому что слушал её дольше, чем помню себя, — она входила в меня раньше, чем я научился думать, она была первым, что я знал о мире, ещё под полом, в темноте. Потом пришёл запах одежды — той самой, серой, пропахшей золой и травяным дымом, той, в которой она ушла три дня назад. Потом земля: земля лежала на ней, влажная, чёрная, чужая, тяжёлая, будто её принесли издалека и не с дороги, а из-под дороги, из-под самого низа. Потом — снова походка, уже вся, целиком, и хвост мой пошёл сам собой, как всегда шёл к ней, и я привстал, и всё во мне сказалось «она», — и тут не пришло сердце.

У всякого, кто идёт, есть сердце, и я слышу его прежде, чем слышу голос, прежде, чем различу лицо. Сердце — первое, что говорит мне: живое. У неё сердца не было. Была походка. Был запах. Была одежда, земля, вся она — а сердца, того ровного тяжёлого хода крови, что я знал в ней век, не было вовсе, будто из знакомого до последней чёрточки существа вынули самую его середину и всё прочее оставили как есть.

Я замер на середине движения. Хвост опустился раньше, чем я решил его опустить.

Она шла от межи через мёртвое кольцо, и с ней было ещё много неправильного, только я не сразу дал всему имена, потому что имена приходят потом, а сначала приходит одна холодная тяжесть в груди, и я стоял и набирался этой тяжести. Прошёл дождь — короткий, злой, ещё до заката; трава была мокрой, кольца земли раскисли, мой собственный след за спиной

темнел водой, и капли ещё висели на нижних ветках, срываясь одна за одной. Её одежда была сухая. Не подсохшая на ходу — сухая насквозь, до нитки, будто дождь обошёл её стороной, как живое обходит кольцо; над ней одной весь этот злой вечерний дождь не пролился вовсе. Правая нога оставляла в раскисшей земле глубокий, честный отпечаток, с каждой складкой подошвы. Костяная — не оставляла ничего. Совсем ничего: ни ямки, ни примятой травинки, ни сбитой росинки, словно та нога ступала не по этой земле, а по какой-то другой, которой здесь нет и на которую мне не дано смотреть.

От тела шёл запах смерти. Не гнили — до гнили было ещё далеко, — а той сухой, оставившейся тишины, что встаёт в звере, когда сердце уже стало, а тело ещё не поняло и держит форму по привычке. Я знаю этот запах. Мимо наших ворот прошло много смертей, и не все они прошли мимо; я умею отличить только что умершее от умершего три дня назад, как человек отличает утренний хлеб от вчерашнего. От неё пахло тремя днями. Но поверх этой сухой тишины, в самой её сердцевине, лежал её запах. Подлинный. Тот, по которому я узнал бы её и слепым, и глухим, и мёртвым, — запах, которого не подделать, потому что он не на коже, он глубже кожи, он в том, что человек есть. В смерти был кто-то чужой. В имени — она. Я стоял между этими двумя правдами и не мог свести их: смерть говорила «не она», имя говорило «она», и обе не лгали.

И ещё одно, самое странное, я приберёг напоследок, потому что оно пугало больше сердца: в следах не было направления. Я умею читать, откуда пришли. У всякого пути есть исток — место, куда след указывает пяткой, как стрелка указывает на дом охотника. По истоку я знаю о госте больше, чем он сам о себе скажет: где спал, где ел, где боялся, откуда бежал. Её следы начинались от межи и не указывали никуда. Ни назад, в лес, ни в сторону, ни к тропе. Будто она не пришла из леса, а проступила на его краю, уже идущей, — как проступает вода на холодном камне, ниоткуда, из самого камня.

Я стоял и складывал всё это, как складываю всегда, по одному, не торопясь, потому что сторож, который торопится, — уже не сторож: если запах смерти, но имя её — значит, повреждена, но своя. Так я решил. Так мне было проще, а простого мне тогда и хотелось. Я решил считать её Ягой — походка была её, и шла она к своему дому, а к своему дому чужой так не идёт: так идёт только тот, кто знает, что дом его примет. Это было первое из решений той ночи, и принял я его не тем местом, каким надо. Я узнал её. Я не спросил, кто она. Между «узнал» и «спросил» лежит вся та ночь.

Но я не бросился навстречу. Вот что я сделал правильно, единственное, может быть, за всю ночь, — и сделал его не разумом, а телом. Впервые за столько лет, что и считать нечем, я не лёг перед ней, не подставил голову под руку, не сделал того, что делаю всегда, когда она возвращается. Я вышел на кольцо и встал между нею и воротами — так, как встаю перед всяким входящим, кого не знаю. Тело сделало это само, раньше меня, прежде чем я успел устыдиться. Тело у меня умнее, чем я; оно чувствует то, до чего разум мой доходит с опозданием на целую беду.

— Откуда ты идёшь, — сказал я. Не спросил. У сторожа вопрос звучит как требование, иначе это не служба, а болтовня, а болтовни граница не признаёт.

Она остановилась в двух шагах. Посмотрела на меня сверху — глаза у неё были её, серые, в тяжёлых веках, только смотрели чуть мимо, будто она мерила не меня, а расстояние за моей спиной, что-то, что стояло позади, чего я не видел и не чуял.

— Где ступа, — сказал я. — Кто идёт за тобой.

— Никто не идёт за мной, — сказала она.

Голос был ровный и точный, как всегда. Он ответил на один мой вопрос и не тронул двух других. Про ступу она не сказала. Про то, откуда, — не сказала. Я услышал это молчание так же ясно, как слышу отсутствие сердца, — есть тишина, которая громче слов, и это была такая тишина. «Никто не идёт за мной» — это была правда. Я почуял бы ложь, у лжи кислый запах страха того, кто её говорит, а от неё не пахло ни ложью, ни страхом, ни вообще ничем, кроме

смерти и имени. Просто правда была не о том, что я спрашивал. Я спросил, кто за ней. Она ответила, что никто за ней не идёт. А про то, кто перед ней придёт, кто уже здесь, ближе, чем я думаю, — про это она не сказала, потому что я не спросил, а она в ту ночь отвечала только на то, о чём спрашивали, и в этом, я теперь понимаю, была вся её последняя честность.

За спиной у меня зашевелился дом.

Кот появился на верхней площадке столба — он всегда там, когда есть на что посмотреть, и всегда так, будто оказался случайно, не следил, а просто нашлось дело как раз на этой высоте и как раз в эту минуту. Он сел, обвил лапы хвостом и стал смотреть — на меня, на неё, на то, как я стою поперёк дороги хозяйке, чего не бывало никогда. Ворон проснулся весь разом, без потягиваний, как просыпается тот, кто и не спал, снялся с жерди и сел ближе, на прясло, и сложил крылья с сухим стуком, каким закрывают короб. Жаба выбралась из-под крыльца к каменному тазу и села в свою мокрую тень, и я услышал, как она затихла — не по-жабы, настороженно. Змея не показалась. Я отметил это — не показалась, — и отметина легла в тот короб, куда я складывал за ночь всё, чего не понимал, и ни одной не открывал. Избушка медленно, со скрипом старого мокрого дерева, повела крышей, поворачиваясь. Не к тропе. Ко мне. Будто хотела встать так, чтоб видеть не гостью, а сторожа, — не того, кто пришёл, а того, кто решает.

— Ты её не пускаешь, — сказал Кот. Он смотрел, как я стою поперёк, и в голосе у него было то ленивое удивление, за которым он прячет всё, что для него важно; чем важнее, тем ленивее. — Первый раз на моей памяти ты держишь Хозяйку у ворот. А я помню много. Я помню, как ты встречал её при трёх прежних лунах этой ограды и при столбе, что стоял до нынешнего. Ты всегда стелился ей под ноги, как хорошая половица. А сегодня стоишь колом. Что-то ты почуял, Пёс, и мне бы знать, что.

— Она не просила войти, — сказал я. Не Коту — себе, чтобы услышать это вслух и проверить на слух.

— Потому что считает дверь своей, — сказал Кот. — Своё не просят. Своё берут. Тот, кто просит войти, — гость. Тот, кто входит не спрашивая, — хозяин. А тот, кого держат у ворот в его собственном доме, — Кот примолк на самую малость, — уже не пойми кто. Ты сам не заметил, как перевёл её из хозяйек в этот последний разряд. Одним тем, что встал поперёк.

Он сказал это легко, как говорит всё, и отвернулся вылизать плечо, будто уже потерял к разговору интерес, — но я знал, что не потерял, Кот никогда не теряет интереса, он только делает вид, чтобы ты расслабился и сказал лишнее. Слово его осталось висеть в воздухе, и я, дурак, услышал в нём только кошачью привычку спорить о том, чьё что. Своё, чужое, чьё. Кот всегда об этом. Я думал — это его беда, его вечный зуд, как у меня зуд стеречь. А его зуд был единственным правильным вопросом за ту ночь; мой — нет.

Яга не ответила Коту. Она вообще не смотрела на Кота, будто его не было, будто из всего двора для неё был один я. Она обошла меня — медленно, давая себя обойти, не отталкивая, а именно позволяя, — и пошла к крыльцу. Я двинулся следом, на шаг позади и сбоку, как ходят за тем, кого сторожат, а не за тем, кого любят; разница в полшага и во всём. Она этого не заметила. Или заметила и не подала виду, — а вернее, знала наперёд, что я так пойду, потому что сама к тому и вела.

У крыльца она остановилась. Не поднялась сразу. Положила руку на косяк — не оперлась, а тронула, легко, ладонью, будто здоровалась с домом или прощалась, — и постояла, считая ступени глазами: раз, два, три, четыре. Я знал эти четыре ступени лучше, чем свои лапы. Изба опустила третью пониже, как делает для усталых, а четвёртую придержала — приподняла её самую малость, на волос, проверяя ногу, ту, костяную, что не оставляла следа. Обычному глазу не увидеть этого движения дерева. Мне — видно, я вижу, как дом дышит.

Потом Яга повернулась и посмотрела не на дом. На меня.

Она нагнулась — тяжело, не так, как нагибалась прежде, а медленнее, беречь спину, — и один раз провела рукой по моей голове, коротко, от лба к уху, и задержала холодную сухую ладонь на ухе. И под этой рукой я снова стал на миг тем, кем был всегда, — её псом, у её ног, дома; всё во мне отозвалось на руку, как отзывается земля на дождь после суши. Рука была холодная и сухая, и под ногтями у неё была та же чёрная земля, что и на одежде, набившаяся глубоко, под самый корень ногтя, как набивается тому, кто копал руками, долго, в темноте. Я запомнил землю под ногтями и не придавал ей значения. Той ночью я многое запомнил и ничему не придавал значения; в этом всё дело.

— Слушай, — сказала она. Тихо, только мне, наклонившись к самому уху, так что я чувал её дыхание — а дыхания не было, слова были, а дыхания под ними не было, и от этого волосы на моём загривке поднялись сами. — До третьего зова не впускай меня. Ни в каком облике. Даже если я вернусь и назову тебя настоящим именем.

Настоящее имя.

Есть имя, которым меня зовут все, — Пёс; это не имя, а служба, надетая как ошейник, и она мне впору, я в ней родился и в ней умру. А есть то, другое, которое она сказала надо мной один раз, давно, в темноте, где пахло свежим деревом и её кровью, и которое с тех пор не звучало ни разу — ни в гневе, ни в нужде, ни в ласке. Услышать его — всё равно что услышать, как отпирается то, что во мне заперто на век; я не знаю, что за той дверью, я знаю только, что не хочу, чтоб её открывали, потому что за ней я перестаю быть просто Псом и делаюсь чем-то, чего сам в себе боюсь. Она знала это. Она назвала это имя сейчас не вслух — только указала на него, как указывают на дверь, не открывая, — и у меня заныли старые рубцы на лапах, все четыре разом, будто их снова провели по горячему, будто само упоминание имени тронуло то место, где имя когда-то в меня вошло.

Я хотел спросить. Во мне было три вопроса, и все три — правильные. За них после и заплачено. Кто будет звать. Как отличить третий зов от первого и второго. Что мне делать после того, как он прозвучит. Я открыл пасть.

И не спросил.

Потому что спросить — значило показать, что я сомневаюсь. Что мне мало её слова. Что верность моя не полна и её надо подпирать объяснениями, как подпирают колом покосившийся плетень. Я гордился тем, что мне довольно приказа, — всю жизнь я тем и был хорош, что не переспрашивал, брал приказ как есть и нёс его, не расплёскивая. И теперь, в самую важную ночь моей жизни, я снова смолчал — и был горд молчанием, стоял и раздувался этой своей гордостью, как раздувается индюк, не зная, что его несут к колоде. Спроси я тогда хоть один из трёх вопросов — и, может быть, ничего бы не случилось. Но сторож, который переспрашивает, казался мне хуже сторожа, который ошибётся. Я выбрал не переспрашивать. Я всё выбрал уже тогда, у крыльца, только узнал об этом к утру.

Она выпрямилась — медленно, придерживаясь за косяк, — и поднялась на крыльцо.

Изба приняла её странно, и я, лежавший теперь у нижней ступени, видел каждое движение дерева. Опустила третью ступень — согласие. Придержала четвёртую — сомнение. Потянула время, будто взвешивала, — и вдруг резко, коротко подала эту четвёртую вверх, к самой её ноге, будто не выдержала собственного сомнения и решила за себя сама, махнула, как машут рукой на то, чего всё равно не понять. Яга переступила порог. И я почувствовал вот что, и это было самое странное из всего за тот час: тело её вошло в дом, всё, до последнего запаха земли под ногтями, до последней нитки сухой одежды, — а приказ остался снаружи. Он лёг у порога отдельным запахом, тут, рядом со мной, как оставляют у порога то, что нельзя вносить в дом, — грязь, оружие, беду. Тело ушло внутрь. Слово осталось со мной. Я тогда не понял, что это значит, — что она сама разделила себя надвое у этого порога: то, что войдёт, и то, что велит не впускать входящее. Я запомнил и это. Короб мой наполнился.

Перед тем как дверь затворилась, она сказала — уже не оборачиваясь, в темноту сеней, куда я не мог заглянуть:

— И вот ещё. Не узнавай раньше, чем спросишь.

Дверь закрылась. Я услышал, как она стала на своё место — не хлопнула, а именно стала, тяжело и окончательно, как ставят на полку то, что больше не снимут.

Я лёг под крыльцом, на своё тёплое место, положил морду на лапы и стал думать над её словами, перекатывая их так и эдак, как перекатывают в пасти кость, пробуя, где мясо. «Не узнавай раньше, чем спросишь». Я понял это как совет сторожу, добрый и понятный: не доверяй знакомой походке, знакомому голосу, знакомому запаху; всё это можно подделать; сначала проверяй, потом признавай; не спеши стелиться под ноги тому, кто пахнет своим, — а ну как чужой надел чужое? Хороший совет. Я даже успокоился немного оттого, что понял его, что среди всего непонятного нашлось одно понятное, за что подержаться.

На самом деле она сказала мне обратное тому, что я услышал. Прямо обратное. Но об этом — после. В её последних словах я расслышал защиту от подделки, а в них был ключ ко всему, и я держал этот ключ в зубах до самого рассвета и не повернул его ни разу.

Сквозь доски мне слышен весь дом. Я лежу под ним, как под животом большого спящего зверя, и слышу, как в нём бьётся жизнь: где ступила лапа, где скрипнула половица под чьим весом, где кто дышит и как. За век я выучил этот дом наизусть, все его голоса, и мог бы с закрытыми глазами сказать, кто где и что делает. Я слушал, как Яга прошла от сеней к печи — знакомые шаги, тяжелее правой, — как села; я услышал, как приняло её старое кресло, как осел в нём вес, как скрипнуло дерево под тяжестью, которую знало век. Всё было правильно. Вес её лежал у печи ровно, не смещаясь, — так лежит вес того, кто сел и не собирается вставать. Я почти закрыл глаза. Тяжесть в груди отпускала: она дома, она у печи, дверь заперта, приказ у меня, — а что мёртвая, что без сердца, так утром разберёмся, утром всё видней.

И тогда те же шаги — тяжелее правой, легче левой, её шаги, до одного, до самой манеры чуть подволакивать костяную, — прошли внутри дальней стены. Не по полу. В стене. Там, где нет ни комнаты, ни хода, где толщина брёвен в мою голову и дальше — только глухое дерево, а за ним лес.

Я поднял морду и стал считать, потому что счёт — последнее, что остаётся сторожу, когда чутьё сходит с ума. Я знаю этот дом по шагам, каждую его стену, каждый угол; я мерил его лапами тысячу ночей, от нечего делать и по службе. От печи до дальней стены — двенадцать её шагов, я считал их сотни раз, засыпая. Она не могла пройти туда. Только что села у печи. Я слышал, как села, я чувствовал её вес через землю, как чувствуют тяжесть спящего, что лёг рядом. Вес был у печи. А шаги шли в стене.

Я ждал, что дом ответит. Изба всегда отзывается на неправильное — стукнет половицей, скрипнет по-особому, подаст знак; у нас с ней есть свои слова, за век наживёшь. Три коротких удара — это мне, это «слышу, вижу, будь наготове», это её рука на моём плече в темноте. Я ждал трёх ударов, я весь подобрался, готовый их принять и ответить службой.

Дом молчал.

А шаги в стене шли — медленно, спокойно, её шагом, без спешки и без крадучести, будто им и положено там идти, будто это самое обычное дело — ходить в толще брёвен, — и приближались, и я слушал, как они идут вдоль дальней стены, потом заворачивают вдоль боковой, потом сюда, ко мне, поверху, над крыльцом, над самой моей головой, — и остановились.

Прямо надо мной.

А Яга в это время сидела у печи. Я слышал её вес — там, у печи, недвижимый. Оба веса были в доме. И оба были её.

Глава вторая. Девочка у межи

Я не пошёл в дом.

Это стоило мне больше, чем видно со стороны, и я хочу, чтобы это было понято правильно, потому что после будут говорить — и уже говорят, — что я всё делал не так; так вот, это одно я сделал так, как велит служба, и всё равно вышло к худу, и в этом урок, которого я до сих пор не разгадал. Шаги остановились над моей головой, оба веса Яги были внутри дома, и всё во мне тянулось наверх — выбить дверь плечом, ворваться, встать между хозяйкой и тем, что ходит её походкой в толще стен, заслонить собой, порвать зубами то, что порвётся. Так поступил бы всякий, кто любит. Но я не всякий, кто любит; я сторож, а сторож любит иначе, чем прочие, — он любит, оставаясь на месте.

Войти я не мог. Не потому, что боялся, — страха во мне в ту минуту не было, был только этот рвущийся наверх порыв. Не мог потому, что моё место снаружи, и пока я снаружи, дом знает, где у него нутро, а где не нутро; где своё, где чужое; где живое, где мёртвое; где приглашённое, а где вторгшееся. Всё это держится на одном: что есть кто-то, кто стоит снаружи и смотрит внутрь. Убери его — и грани поплывут, как плывёт отражение, когда бросишь в воду камень. Я тогда думал об этом просто, по-сторожьи: сторож стоит у двери, а не за ней, вот и весь сказ. Насколько это просто на самом деле, я узнал позже — той же ночью, когда переступил порог и всё поплыло, и я потерял не дом, а самую способность отличать одно от другого.

Я прижался ухом к нижнему венцу, к холодному мокрому бревну, и стал слушать дом весь, не выбирая, как слушают лес перед грозой, — не одну птицу, а всё разом.

Яга сидела у печи. Её вес лежал в кресле ровно, не смещаясь ни на волос, — так лежит вес того, кто сел и не встанет, вес усталости, которой уже всё равно. Кот шёл поверху, над сенями, мягко, вороватой своей поступью, той, какой ходит по чужому добру, — а всё в доме для Кота чужое добро, даже воздух; он проверял, не открылось ли где чего с приходом хозяйки, не появилось ли где новой щели, нового угла, новой поживы. Жаба возилась у внутреннего шкафа, где стоят её склянки и пучки; я слышал, как она перебирает их — глиняное о глиняное, сухое о сухое, — и в этом перебирании была тревога, потому что, когда Жаба спокойна, она не перебирает, а лечит. Ворон спустился было через дымоход — сажа сухо посыпалась вниз, он отряхнулся в темноте, — но не сел, а держался на весу, на карнизе печи, будто не хотел касаться пола этой ночью. Змея двигалась в стене, низко, у самого пола, — и не туда, где были шаги, а прочь от них, к дальнему углу, будто уходила от того, что ходило в брёвнах, — знала это ходящее и не хотела встречи.

Я пересчитал их всех, каждого нашёл голосом, весом, движением. Шестого веса не было. Того, что ходило в стене над моей головой, — не было нигде. Стена, где только что шли шаги, молчала теперь, как молчит просто дерево, просто бревно, в котором никого. Я даже поскрёб её лапой снизу — тихо, — и она отозвалась пустотой, глухим деревянным нутром, и ничем больше.

Значит, весов было два, а тел — одно. Шаги были, а того, кто шагает, не было. Я сложил это к прочему в свой короб и не открыл короба: я решил, что разберусь с этим позже, вместе со всем, что накопилось, а сейчас — служба, обход, круг, потому что круг не ждёт, пока сторож разберётся в своих мыслях; служба идёт, куда стоит дом.

Я выбрался из-под крыльца и пошёл к воротам — доканчивать обход, который бросил на середине, у появления Яги. И у ворот понял, что, пока я слушал дом, снаружи всё сдвинулось, тихо и страшно, как сдвигается лёд под ногой, когда уже поздно.

Лес стоял ближе.

Не намного — на десяток шагов, может, на дюжину. Но я знаю каждое дерево на своей меже так же, как знаю стены дома, у каждого своё имя из запаха и коры, и вот эти, ближние,

— старая ель с раздвоенной вершиной, сухостоина, что стоит третий год не падая, кривая берёза, — стояли не там, где стояли вечером. Они придвинулись. Не подошли — деревья не ходят, — а оказались ближе, как оказалась ближе девочка, о которой я ещё не знал: были там, стали тут. Мёртвое кольцо от этого сделалось уже, будто лес отъел у него край. Один череп на угловом коле — я сам его туда сажал, давно, ещё при прошлом столбе, — смотрел не наружу, как ему положено и как он смотрел все эти годы, а внутрь, на поляну, на дом, будто обернулся послушать, что делается за спиной. Мох на кольях лёг остриём к дому — весь, по всей ограде, разом передумав, куда ему расти. А в мёртвом кольце, там, где ничто не держит тепла, где земля холодна и мертва по самому своему назначению, была тёплая точка — маленькая, ровная, живая, как уголёк под золой.

И в этой точке стояла девочка.

Я не видел, как она пришла. Вот в чём весь ужас — я не видел и не слышал, а я вижу и слышу всё, что приближается к дому на три полёта стрелы; в этом моя служба, в этом я, и другого меня нет. Не было шага. Не было запаха, идущего впереди тела, как идёт впереди всякого живого его запах, объявляя о нём раньше, чем покажется он сам. Не было той перемены в воздухе, того сгущения, с каким входит в мою землю чужое. Я просто повернулся от ворот — и она была. Уже была, будто стояла тут всегда, от начала мира, а я на миг отвёл глаза и, отведя, пропустил её появление, которого, может, и не было вовсе, — может, она не появилась, а просто перестала быть невидимой.

Я стал читать её так, как читаю всё, — по порядку, потому что порядок не врёт, даже когда врёт всё остальное; порядок — последняя честная вещь.

Запах, идущего к ней издалека, — нет. Дороги — нет. Следа приближения — нет. Дыхание — есть; ровное, детское, чуть частое, с лёгкой запинкой, как у того, кто замёрз, но терпит и не хочет показать, что замёрз. Тепло — есть, я чувствовал его через мёртвую землю, слабое живое тепло. Веса — нет; земля под ней не проседала, не отзывалась тяжестью, будто девочка была не тело, а рисунок тела, наведённый на воздух. И только последним, когда всё честное уже сказало мне, что честного тут ничего нет, я посмотрел, как она выглядит, — потому что вид обманчивее всего, вид я оставляю на потом.

Маленькая. По грудь мне, если бы я встал рядом на все четыре. Одна нога босая, посиневшая от холода мёртвой земли, на другой — башмак, чужой, большой не по ноге, со шнуром вместо застёжки, из тех, каких давно не носят, я такие чуял на очень старых гостях. Одежда собрана из кусков, будто её одевали впопыхах, хватая что попало из разных коробов разных времён: рубаха новее, чем платок, платок старше, чем всё вокруг него, поверх — что-то серое, что могло быть когда-то и попоной, и рядном, и саваном. Волосы подстрижены неровно, клоками, будто их равняли в разное время разные руки, не сговариваясь друг с другом, — прядь короче, прядь длиннее, и ни в одной нет умысла. Лицо — не её. Не Ягино. Я боялся, что будет её, — всю дорогу от ворот боялся увидеть Ягины черты на этом малом лице, — а оно оказалось чужое, детское, никакое, из тех лиц, что не запоминаются, каких у бедных детей бывает много. Но когда девочка чуть повела головой, набок, прислушиваясь к дому, к тому, что делается в нём, — это движение я знал. Так делала Яга, когда сомневалась, впускать ли гостя: чуть склоняла голову к левому плечу и замирала, слушая не ушами, а чем-то глубже ушей. Лицо было чужое. А поворот головы — её. И от этого несовпадения — чужое лицо, свой жест — по спине у меня прошёл холод хуже, чем от всего кольца.

— Как тебя зовут, — сказал я. — Каким путём пришла. Зачем. Кто тебя привёл.

Четыре вопроса — все, какие сторож должен задать входящему, все, на которых стоит служба. Она выслушала все четыре, не перебивая, склонив голову к плечу, тем самым Ягиным манером, — и ответила не на них.

— Она уже внутри, — сказала девочка. — Я осталась снаружи.

Голос был странный. Не один. Будто говорила девочка, а следом, на полшага позади, за одним её словом тянулось эхо, и эхо было не детское — то взрослое, то старое, то совсем ветхое, из-под самого низа времени. «Она уже внутри» — первое слово выговорила девочка, своим тонким голосом, а «внутри» договорил кто-то, кто помнил это слово дольше неё, кто произносил его иначе, круглее, на старинный лад. Одна короткая фраза — а голосов в ней было несколько, они наплывали и сходили, как наплывали и сходили запахи с корня, о котором я расскажу после.

— Кто — она, — сказал я.

Девочка посмотрела на дверь. Долго, не отрываясь, как смотрят на то, чего хотят и боятся разом, чего нельзя не хотеть и нельзя добиться. И не ответила. Не потому, что скрывала, — я не почуял в ней хитрости, у хитрости есть свой запах, кисловатый, воровской, а от девочки не пахло ничем, и это было хуже всякой хитрости, потому что от того, кто ничем не пахнет, не знаешь, чего ждать. Она не ответила, потому что, я думаю теперь, сама ещё не знала. Она не умела пока отделить ту, что внутри, — мёртвую у печи, — от той, чьё лицо она невольно повторяла в жестах, от той женщины, что жила когда-то у воды, от собственного своего слабого «я», едва проклюнувшегося. Все они были в ней сразу, спутанные, и ещё не разошлись по именам, как не разошлись голоса в её эхе. Спроси я тогда мягче, не как сторож, а как спрашивают у потерявшегося ребёнка, — может, она и нашла бы, что ответить. Но я спрашивал службой, а служба не умеет спрашивать у потерявшихся.

Я решил проверить след. Пусть говорит что хочет, пусть молчит на дверь — земля скажет правду; земля мне не врала ни разу за век, и я верил ей больше, чем любому голосу.

Я пошёл вдоль ограды, медленно, низко опустив морду, нюхая каждую пядь. Девочка осталась, где стояла, и провожала меня глазами, не поворачивая тела, — только глаза шли за мной, и я чувствовал их спиной. И вот что сказала мне земля, и это была правда страшнее её молчания. След был только под самыми её ногами — там, где босая ступня и чужой башмак вдавились в мёртвую землю, — и больше нигде. Ни позади неё, ни в стороне, ни в лесу, откуда всякий приходит. Трава кругом — за кольцом, где трава ещё растёт, — стояла не примята, роса на ней не сбита ни единой каплей. Запах её — тот, которого не было впереди, — не тянулся через лес ниоткуда; он начинался ровно там, где кончались её ноги, обрубленный, без корня, и не имел истока, как не имеет истока родник, что бьёт прямо из-под камня. А земля, что налипла на её босую пятку, была не лесная и не с тропы. Это была сухая серая пыль — та, что копится в старом доме по углам, под полатами, в подклети, в глухих простенках, куда не доходит ни дождь, ни живой шаг, ни свет; пыль осевшего времени. Пыль из Избушки. Из-под самого нутра дома, из той сухой сердцевины, куда не хожу и я.

Я стоял над этим следом, и до меня доходило — медленно, холодно, как заходит вода под лёд: она не перешла границу. Она появилась уже внутри неё, за моей спиной, в моём кольце, из ничего, из-под земли. Пока я, сторож, слушал шаги в стене, приложив ухо к бревну, у меня за спиной, в моём кольце, в моей мёртвой земле, из ниоткуда встало существо, а я не услышал, не почуял, не обернулся. Это было не по разуму — по гордости, по самому корню моему. Всю жизнь я тем и был, что никто не входил в мою землю незамеченным, — ни зверь, ни человек, ни мёртвый; в этом моё имя, в этом весь я. А эта вошла. Или не вошла — просто оказалась, что было ещё хуже, потому что от невошедшего не уберёжешься: чтобы уберечь границу, надо, чтобы её переступали, а эта не переступала, она проступила, как проступает сырость сквозь стену, и стену не заткнёшь.

— Она нарушила границу, — сказал я громко, чтобы слышал дом, чтобы слышали все, чтобы услышал и сам, ибо, сказанное вслух, оно звучало твёрже, чем в мыслях. — Она в кольце. Её здесь быть не должно. Значит, чужая. Значит, гнать.

— Что именно она нарушила?

Кот. Он сошёл со столба — я не слышал как, Кот сходит бесшумно, когда хочет застать врасплох, — и сидел теперь на верхней ступени крыльца, аккуратно обернув лапы хвостом, и смотрел на меня тем взглядом, каким смотрят на того, кто сказал глупость и ещё не понял, что сказал глупость, и оттого глядит гордо.

— Границу, — повторил я, уже тише, потому что от его взгляда твёрдость моя дрогнула. — Она за оградой. В мёртвом кольце. Ей там не место.

— Она за оградой, это правда, — согласился Кот, и в согласии его была ловушка, он всегда сперва соглашается. — А граница — это черта, которую переступают. Нарушить черту можно одним способом: переступив её. Покажи мне место, где она её переступила. Один-единственный след входа. Примятую с той стороны траву. Сбитую росу. Одну отметину, что вот здесь, в этой точке, чужое вошло в наше. — Он подождал, давая мне время, которого у меня не было. — Ты обошёл всю ограду, я видел, как ты шёл, носом в землю. Нашёл?

Я не нашёл. Он знал, что не нашёл, — он для того и спрашивал, чтобы я сам, вслух или молчанием, признал, что не нашёл.

— Нельзя нарушить черту, не переступив её, — сказал Кот, и в голосе у него не было ни тепла к девочке, ни торжества надо мной, — была только его всегдашняя тяжба со словами, тот холодный зуд, что не даёт ему принять ни одного имени, пока оно не доказано. — Ты хочешь назвать её чужой, потому что чужую можно прогнать, а прогнать — это дело, это понятно, это по тебе. Так проще, чем думать. Но чтобы прогнать за то, что вошла, надо сперва, чтобы она вошла. А она не входила. Она здесь оказалась. Это другое слово, Пёс, совсем другое, и от него всё иначе. Пока ты не найдёшь, какое это слово, ты не имеешь права ни впускать её, ни гнать. Ты имеешь право только не знать. И стоять с этим незнанием, как я стою.

Я хотел огрызнуться, что право у меня одно — беречь дом, и слов для этого не надо, слова — это по его части, а по моей — зубы и след. Но за спиной у Кота шевельнулись остальные, и я отвлёкся на них, и хорошо, что отвлёкся, потому что то, что они делали, сказало мне больше слов.

Ворон сел на прясло ограды и смотрел не на девочку. Он смотрел ей за спину, в лес, туда, где стояли придвинувшиеся деревья, и голову держал набок, одним глазом, будто там, за девочкой, было что-то куда важнее её самой, что-то, чего я не видел. Я оглянулся — за ней не было ничего, пустой лес, придвинувшийся, но пустой. Ворон видел это ничего очень внимательно, так внимательно, как смотрят на приближающееся, а не на пустоту.

Жаба не подошла. Осталась у своего таза, в мокрой тени, и оттуда сказала — не мне, всем, и не громко, будто думала вслух:

— Прежде чем решать, чужая или своя, надо понять, одно ли в ней тело. — И умолкла, будто спохватилась, что сказала слишком много, и вобрала остальное обратно.

А Змея показалась. Из щели в нижнем венце, у самого моего места под крыльцом, у той щели, где она грелась век, выдвинулась её голова — тонкая, в старой, потускневшей, готовой к смене коже, — и застыла. Совсем. А Змея никогда не замирает без причины; она вся — движение, даже в покое в ней течёт какое-то малое струение, как течёт вода подо льдом. А тут она застыла каменно, и голова её была повернута к девочке, и я, хоть и был весь в своей уязвлённой гордости, успел прочесть в этой неподвижности то, чего там не должно было быть.

Змея узнала девочку.

Не разглядывала её, не решала, кто она, как решали мы, — узнала, сразу, как узнают то, что уже видели, что знали давно и ждали. Я отметил и это — узнавание Змеи, — чтобы после спросить; у меня к той ночи накопился уже целый короб отметин, тяжёлый короб, и я всё складывал их туда, одну на другую, и ни одной не открывал, потому что открыть хоть одну значило начать понимать, а понимать было страшнее, чем не понимать.

Избушка не повернула двери. Она стояла, как стала, боком, думая. Но одна доска под крыльцом — та, у которой я лежу, та, что всегда тёплая мной, нагретая моим боком за век, —

нагрелась сильнее обычного, я почувствовал это издали, от ворот, спиной. Дом грел место. Не для меня — я был не там. Я не понял тогда, для кого он греет моё место, и от одной мысли, что моё место греют не для меня, во мне поднялось что-то тёмное, чему я тогда не дал имени.

Девочка всё это время молчала, глядя на нас — на каждого по очереди, будто читала нас, как я читаю след. А потом наклонилась — самую малость, заглядывая мне за спину, под крыльцо, в мою темноту, в моё единственное место на свете, — и сказала:

— Там тесно.

Я не ответил. Я стоял и смотрел на неё, и шерсть у меня начала подниматься вдоль хребта, ещё прежде, чем я понял отчего.

— Ты ложишься боком, — сказала она, и голос её был теперь ровный, один, без эха, будто про это она знала твёрдо, без чужих подсказчиков. — На левый бок. Когда дом болеет — когда у него ноет северный угол и оттуда, из-под нижнего венца, тянет холодом. Тогда ты ложишься на левый бок, к тёплой доске, спиной к щели, чтобы греть больное дому место своим телом и разом слышать и двор, и нутро. Ты лежишь так и не спишь, всю ночь, пока дому не полегчает.

Я лёг на левый бок этой самой осенью, впервые за много лет, когда северный угол дома повело и оттуда пошёл холод, и лежал так много ночей подряд, грея дому больное место, не смыкая глаз. Об этом не знал никто. Об этом нельзя было знать снаружи — это было между мной и домом, в темноте, под крыльцом, ночью. Это можно было знать только оттуда, изнутри, из-под самого пола, из той сухой сердцевины, где лежит то, что слышит спину сторожа сквозь доски и запоминает, как он ложится, когда думает, что его никто не видит.

Шерсть у меня встала вся, от загривка до хвоста. Я услышал в её словах не жалость, не участие, не «я вижу, что тебе трудно», — я услышал вора. Кто-то влез в дом, в самое его нутро, в темноту под полом, и украл оттуда мою тайну, мою больную осень, мой левый бок, мои бессонные ночи над чужой болью, — и вынес украденное сюда, к меже, чтобы показать мне: смотри, я знаю тебя изнутри, я держу твоё тайное в горсти. Так я это услышал. Как кражу со взломом того единственного, что у меня есть и что моё, — не дом, дом не мой, я его только стерегу, а моё — вот это: место, бок, тайная моя служба дому по ночам. Единственное моё.

И я не подумал спросить себя, откуда в чужом малом ребёнке, вставшем из ничего, моя тайна. Спросить — значило начать понимать; понять — значило, может быть, пожалеть; а я уже решил не понимать и не жалеть, а стеречь, потому что стеречь я умею, а понимать и жалеть — этому меня не учили, для этого во мне не было места, я его после нашёл, да поздно.

— Не подходи к дому, — сказал я. И голос мой был хриплый, злой, чужой мне самому. — Ни на шаг. Пока я жив, ты в него не войдёшь. Ни через ворота, ни через стену, ни из-под земли. Я тебя нашёл, значит, устерегу.

Девочка выпрямилась. Постояла, глядя на меня снизу вверх, — и в глазах у неё было что-то, чего я тогда не вынес и потому поспешил назвать злобой, чтобы было с чем воевать, хотя это была не злоба, это было куда хуже злобы, это было понимание, — она понимала меня лучше, чем я сам, и жалела, и оттого мне было нестерпимо. И сказала — тихо, без обиды, тем страшным ровным голосом, в котором на этот раз взрослое эхо молчало, а говорила только она сама, одна, маленькая:

— Тебя ведь не пускают, Пёс. — Она чуть помолчала, давая словам осесть. — Тебя оставили снаружи. Это разные вещи. Тебе кажется, что ты стережёшь дверь. А ты за ней стоишь.

Глава третья. Семь сердец

«Он начался после того, как она увидела дом», — сказала Жаба про слабый седьмой ритм. На этих словах мы и замолчали. Я стоял над ними всю остальную ночь, сам того не зная. Расскажу по порядку, как было, а не как понимаю теперь.

К девочке нельзя было прикасаться. Это я решил твёрдо и сказал так, чтобы слышали все: пока не ясно, кто она, никто не пересечёт к ней ограду и не даст ей руки. Ни лапы, ни крыла, ни хвоста. Граница есть граница; кто протянет через неё руку, тот протянет и себя, а себя я через границу не пущу. Жаба со мной не согласилась.

— Мне надо её послушать, — сказала она. Не попросила — сообщила, как сообщает о погоде, ровно, без нажима. Жаба говорит о живом и мёртвом так, будто это две ямы, между которыми она ходит по краю с лучиной, наклоняясь то в одну, то в другую, и ей всё равно, чья это яма — своя ли, чужая, — лишь бы разглядеть дно, потому что дно она обязана видеть, для того и создана. — Глазами тут ничего не увидишь, — сказала она. — И носом твоим — тоже, ты уже понюхал, и что нанюхал? Ничего, пустоту. А тело либо ответит, либо нет. Тело не умеет молчать, как молчит она. Пустит меня к ней.

— За ограду — нет, — сказал я.

— Тогда мы приведём ограду к ней, — сказал Кот.

Он всегда так. Там, где я вижу черту, глухую и цельную, он видит слово, а слово можно повернуть боком и пройти в щель между его смыслами. Он объяснил — лениво, будто скучая, вылизывая между делом лапу, — что прикосновение через вещь не есть вход; что если Жаба не переступит кольцо сама, своим телом, а протянет к девочке что-то из дома, длинное, то нарушения не будет, потому что нарушить границу может тело, а не нитка, тело имеет вес и волю, а нитка ни того ни другого. Я слушал и злился, потому что не мог поймать, где он лжёт, а он не лгал; в том и беда с Котом, что он редко лжёт словами — он лжёт тем, какое слово выбирает главным. Он выбрал главным «тело» и отодвинул «черту», и вышло гладко, и я не нашёл, за что зацепиться, кроме своего сторожего упрямства, а упрямством против Кота не навоюешь.

— Через вещь, — сказал я наконец. — И вещь потом сжечь.

— Договорились, — сказал Кот так быстро, что я понял: он и сам собирался сжечь, просто дал мне сказать это первым, чтоб я думал, что решил я.

Принесли долгий пучок корней — сухих, свитых в жгут, тех, какими Жаба вычерпывает свою жабыю мудрость из воды; корень этот хранится у неё для дел, где нельзя рукой. Один конец она опустила в каменный таз во дворе, другой протянули через ворота, поверху, не касаясь земли межи, и девочка за оградой взяла его в ладони. Взяла осторожно, двумя руками, бережно, как берут птицу, у которой бьётся сердце, — и это тоже я отметил, как она взяла: не жадно, не хватко, а бережно, будто боялась повредить не себе, а корню. Жаба присела у таза и стала смотреть в чёрную воду.

Так это делается, и я расскажу как, потому что после многие будут врать, будто мы не по правде судили, а по правде, вот по этой самой. Всё, что есть в теле, отдаётся воде, если между телом и водой есть проводник — жила, корень, нить. Вода не врёт, как не врёт земля; вода и земля — две последние честные вещи в мире, где всё прочее научилось лукавить. Я лёг у таза с наветренной стороны, чтобы слышать разом и девочку за оградой, и то, что скажет вода.

Сначала вода нагрелась. От сухого корня по ней пошло тепло — ровное, живое, как идёт тепло от всякого, в ком есть жизнь; и я на миг успокоился: живая, значит. Потом вода остыла. Резко, словно в неё дохнули зимой: с той стороны корня вошло что-то холодное, из-под земли, из мёртвого. Я насторожился снова. А потом вода пошла кругами — и круги были не одни. Их было много, они шли из разных мест разом, наступали друг на друга, сбивались, гасили один

другой и вспыхивали снова; вода не могла улечься, металась, как мечется лужа под многими каплями. Я видел на её чёрной коже, при свете, что шёл из щелей дома, как один ритм спорит с другим, и третий с ними обоими, и ещё, и ещё, — будто в таз бросили не одно сердце, а целую пригоршню, и все они бились каждый по-своему, не в лад.

Жаба сидела не шевелясь, только губы её двигались — она считала, беззвучно, как считают то, чему не хотят верить. Досчитав, не сказала сразу. Провела над водой лапой, успокаивая круги, разглаживая их, — и стала считать сызнава, потому что Жаба не верит первому счёту, когда счёт страшный; она всегда пересчитывает страшное, будто надеется, что во второй раз выйдет меньше.

Во второй раз вышло то же.

— Семь, — сказала она наконец. Тихо.

— Семь — кого? — спросил я.

— Пока не знаю кого. — Жаба не отрывала глаз от воды, будто вода могла ещё что-то добавить. — Семь ритмов. Семь сердец, если хочешь, только это не то слово, у неё не семь сердец в груди, у неё в груди одно место, а бьётся в нём семерым. Семь способов не умереть в одном теле разом. — Она помолчала, собирая следующее, самое трудное. — Шесть громких. И один — вот этот, слабый, у самого края, — идёт против остальных. Не с ними. Его почти не слышать за теми шестью. Но он идёт по-своему, своей дорогой, будто не знает про других или знает и не хочет с ними.

Я попробовал услышать слабый. Я слышу сердце спящего зайца за оградой, за тремя прыжками земли; я слышу, как ворочается кровь в засыпающем доме, в каждом из моих. А тут — не смог. Шесть громких перекрывали всё, толклись, наступали, как толчётся вода в половодье, когда не разобрать ни одной струи, а есть один мутный вал; и седьмого за ними было не различить, как не различишь один голос в кричащей толпе. Жаба его слышала — вот что было горше всего. Я, чьё ухо тоньше любого в этом доме, не слышал того, что слышала Жаба. И это легло мне на гордость, поверх всего, что уже легло за ту ночь, ещё одним камнем: сперва не увидел, как вошла, теперь не слышу того, что слышит Жаба. Сторож гложет и слепнет — так я это принял, со злостью на себя, а злость на себя человек и зверь всегда норовят выместить на другом, и я стал искать, на ком.

А потом заговорили голоса.

Не девочка — через девочку. Она стояла за оградой, держа корень в бережных ладонях, и рот её открывался, но выходило из него не её.

Старик — жаловался, тихо, обиженно, что не помнит дороги домой, всё идёт и идёт, а брода нет, был брод, был, а теперь нет, и вода широкая, и как же он перейдёт, старому не переплыть. Молодая женщина — коротко, ясно, торопливо, будто ей некогда и её ждут: «скажи ему, что хлеб в нижнем коробе, он не найдёт, он никогда сам не находит, всё у него из рук, скажи ему». Ребёнок — просто плакал, без слов, тем ровным долгим плачем, каким плачут не от боли и не от голода, а оттого, что давно, очень давно один, и уже не ждут, что придут, а всё равно плачут, потому что не умеют перестать. Кто-то говорил на речи, какой я не слышал никогда, — слова круглые, тяжёлые, старые, из-под самого низа времени, глубже всех гостей, что прошли у наших ворот. И ещё кто-то, не разобрать кто, ни голоса, ни возраста, всё звал одно имя, женское, ласковое, звал и звал, и не мог дозваться, и в этом бесконечном несбываемом зове было столько горя, что я, зверь, не знающий слёз, отвернулся.

Я хотел разделить эти запахи — по одному, как делаю всегда, потому что у всякого голоса есть свой запах, свой человек, и по запаху я нахожу тело, а найдя тело, знаю, что делать. Но тел не было. Голоса шли из девочки, а девочкой не пахло, и за голосами не стояло ни одного живого, ни одного мёртвого даже — только сами голоса, обрывки, без тех, кому они принадлежали. Я ловил их носом и не мог поймать ни одного за хвост, они проходили сквозь меня, как проходит дым. И для меня она сделалась в тот миг не существом — дверью. Дверью, в

которую ломится толпа, оболочкой поверх множества, кожей, натянутой на крик. Так я решил, и мне стало легче, потому что с дверью, за которой толпа мёртвых, понятно, что делать: дверь держат закрытой, и весь сказ. Я умею держать двери закрытыми. Этого у меня не отнять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.